

Виссарион Белинский

Россия до Петра Великого

143

МЫ, РУССКИЕ, беспрестанно упрекаем самих себя в холодности ко всему родному, в равнодушии ко всему отечественному, русскому. Справедливо ли это? – И справедливо и нет! [...] Что такое любовь к своему без любви к общему? Что такое любовь к родному и отечественному без любви к общечеловеческому? Разве русские сами по себе, а человечество само по себе? Сохрани бог!..

Итак, разве Пётр Великий – только потому велик, что он был русский, а не потому, что он был также человек и что он более, нежели кто-нибудь, имел право сказать о самом себе: я человек – и ничто человеческое не чуждо мне? Разве мы можем сказать о себе, что любим Петра и гордимся им, если мы не любим Александра Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона, Густава Адольфа, Фридриха Великого и других представителей человечества? Что он к нам ближе всех других, что мы связаны с ним более родственными, более, так сказать, кровными узами – об этом нет и спора, это истина святая и несомненная; но всё-таки мы любим и боготворим в Петре не то, что должно или может принадлежать только собственно русскому, но то общее, что может и должно принадлежать всякому человеку, не по праву народному, а по праву природы человеческой...

Содержание истории есть общее: судьбы человечества. Как история народа не есть история миллионов отдельных лиц, его составляющих, но только история некоторого числа лиц, в которых выразились дух и судьбы народа, – точно так же и человечество не есть собрание народов всего земного шара, но только нескольких народов, выражающих собою идею человечества.

[...] Индийцы, египтяне, и особенно племена семитические, греки и римляне, – каждый из этих народов был звеном в цепи развития человечества, – был, но теперь уже не есть, ибо индийцы и египтяне теперь нечто вроде окаменелостей, а греки и римляне исчезли совсем с лица земли, уступив родную почву другим племенам.

Умерший Рим завещал богатое наследство своей жизни разрушившим его варварам: он дал им христианство, цивилизацию и законы. С тех пор человечество явилось в лице тевтонского племени, широким потоком разлившегося по Европе; всё же остальное представляло собою явления случайные, которые возникали бог знает откуда и как и исчезали бог знает где и как, подобно ветру в степях Аравии... Аттилы и Тамерланы основывали огромные монархии и грозили всему миру и Европе; но мир и Европа остались, а гроз-

ные воители исчезли в мале; вместе с ними исчезли и их эфемерные монархии, возникшие и развившиеся не изнутри, подобно явлениям растительного и животного царств Природы, а снаружи, чрез налипание, подобно минералам, не органически, а химически и механически...

Чтоб лучше показать, какая разница между интересным характером народа, не жившего жизнью человечества, и интересным характером всемирно-исторического народа, сравним Иоанна Грозного и Людовика XI. Оба они – характеры сильные и могучие, оба ужасны своими делами: но Иоанн Грозный – важное лицо только для частной истории России: он довершил уничтожение уделов, окончательно решил местный вопрос, многозначительный только для России, – между тем как тирания Людовика XI имела великое значение для Франции и, следовательно, для Европы: Людовик нанёс ужасный удар феодализму, сколько можно было сосредоточил государство, поднял среднее сословие, установил почты, хитрою и коварною своею политикою отстоял Францию от Карла Смелого и других опасных врагов и пр. В характере и действиях Людовика XI выразился дух эпохи, конец Средних веков и начало новейшей истории Европы. Иоанн интересен как человек в известном положении, даже как частно-историческое лицо; Людовик XI – как лицо всемирно-историческое. Иоанн пал жертвою условий жизни народа, на котором вымещал свою погибель; Людовик, чувствуя на себе влияние времени, был в то же время не только рабом его, но и господином, ибо давал ему направление и управлял его ходом.

[...] В чём заключается дело Петра Великого? В преобразовании России, в сближении её с Европою. Но разве Россия и без того находилась не в Европе, а в Азии? – В географическом отношении, она всегда была державою

европейскою; но одного географического положения мало для европеизма страны.

Что же такое Европа и что такое Азия? – Вот вопрос, из решения которого только можно определить значение, важность и великость дела Петра.

Азия – страна так называемой естественной непосредственности, Европа – страна сознания; Азия – страна созерцания, Европа – воли и рассудка. Вот главное и существенное различие Востока и Запада, причина и исходный пункт истории того и другого. Азия была колыбелью человеческого рода и до сих пор осталась его колыбелью: дитя выросло, но всё ещё лежит в колыбели, окрепло – но всё ещё ходит на помочах.

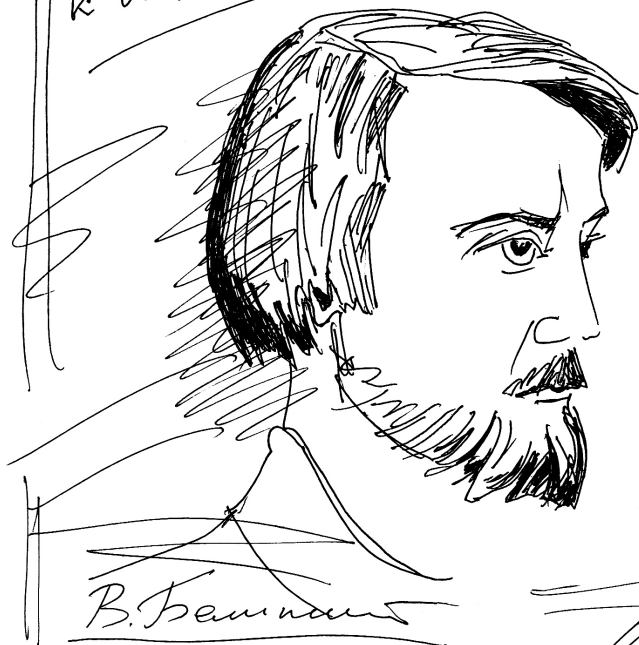
[...] В русском языке находятся в обороте два слова, выражающие одинаковое значение: одно коренное русское – *народность*, другое латинское, взятое нами из французского – *национальность*. Но мы крепко убеждены, что ни в одном языке не может существовать двух слов, до того тождественных в значении, чтобы одно другое могло совершенно заменять и, следовательно, одно другое делать совершенно лишним. Тем менее возможно, чтобы в языке удержалось иностранное слово, когда есть своё, совершенно выражающее то же самое понятие: в их значении непременно должен быть оттенок, если не разница большая. Так и слова *народность* и *национальность* только сходственны по своему значению, но отнюдь не тождественны, и между ними есть не только оттенок, но и большое различие. «Народность» относится к «национальности», как видовое, низшее понятие к родовому, высшему, более общему понятию. Под народом более разумеется низший слой государства: нация выражает собою понятие о совокупности всех сословий государства. В народе ещё нет нации, но в нации есть и народ. Песня Кирши Данилова есть произведение народное;



Что такое любовь
к родному и ответственному
без любви
к общечеловеческому?



Пётр Великий...
Екатерина II...
А. С. Пушкин...



В. Бамин

М. Ак-Ка

стихотворение Пушкина есть произведение национальное: первая доступна и высшим (образованнейшим) классам общества, но второе доступно только высшим (образованнейшим) классам общества и не доступно разумению народа, в тесном и собственном значении этого слова.

Сущность всякой национальности состоит в её субстанции. Субстанция есть непреходимое и вечное в духе народа, которое, само не изменяясь, выдерживает все изменения, целостно и невредимо проходит чрез все фазисы исторического развития. Это зерно, в котором заключается всякая возможность будущего развития.

Народность, как мы уже показали выше, предполагает что-то неподвижное, раз навсегда установившееся, не идущее вперёд; показывает собою только то, что есть в народе налицо, в настоящем его положении. Национальность, напротив, заключает в себе не только то, что было и есть, но что будет или может быть. В своем развитии национальность сближает самые противоположные явления, которых, по-видимому, нельзя было ни предвидеть, ни предсказать. Народность есть первый момент национальности, первое её проявление. Но из сего отнюдь не следует, чтобы там, где есть народность, не было национальности: напротив, общество есть всегда нация, ещё и будучи только народом, но нация в возможности, а не в действительности, как младенец есть взрослый человек в возможности, а не в действительности: ибо национальность и субстанция народа есть одно и то же, а всякая субстанция, ещё и не получивши своего определения, носит в себе его возможность.

[...] Итак, Россия до Петра Великого была только народом и стала нацией вследствие толчка, данного ей её преобразователем. Из ничего не бывает ничего, и великий человек не творит

своего, но только даёт действительное существование тому, что прежде него существовало в возможности... Правда, если бывают народы с великими субстанциями, то бывают народы и с ничтожными субстанциями, и если первые неизменимы и не подвластны воле одного человека, как бы ни был он могуществен, то вторые могут уничтожаться даже от случайностей, даже сами собою, не только волею гения; но зато из этих вторых никакой гений ничего и сделать не может: лучшее, что можно сделать из свекловицы, – то голову сахару; но только из граниту, мрамору и бронзы можно создать вековечный памятник. Если бы русский народ не заключал в духе своём зерна богатой жизни, – реформа Петра только убила бы его на смерть и обессилила, а не оживила и не укрепила бы новую жизнь и новыми силами.

[...] Смешно думать, что европеизм есть какой-то уровень, всё сравнивающий, сглаживающий, подводящий под один цвет. Англичанин, француз, немец, голландец, швейцарец – все они равно европейцы, во всех них есть много общего, но национальные различия их непримиримо резки, и никогда не изгладятся: для этого нужно было бы сперва уничтожить их историю, изменить природу их стран, переродить самую кровь их...

Национальность есть совокупность всех духовных сил народа: плод национальности народа есть его история. И потому мы не берёмся высказать полно и удовлетворительно, в чём именно заключается русская национальность – довольно с нас и намекнуть на это. Но мы, не обинуясь, можем сказать, что национальность состоит не в лаптях, не в армяках, не в сарафанах, не в сивухе, не в бородах, не в курных и нечистых избах, не в безграмотности и невежестве, не в лихоимстве в судах, не в лени ума. Это не признаки даже и народности, а скорее наросты на ней –

следствие испорченности в крови, остроты в соках.

[...] Национальные пороки бывают двух родов: одни выходят из субстанциального духа, как, например, политическое своекорыстие и эгоизм англичан; религиозный фанатизм и изуверство испанцев; мстительность и склонный к хитрости и коварству характер итальянцев; другие бывают следствием несчастного исторического развития и разных внешних и случайных обстоятельств, как, например, политическое ничтожество итальянских народов. И потому одни национальные пороки можно назвать субстанциальными, другие – прививными...

Что самые важнейшие недостатки нашей народности не суть наши существенные, кровные, но прививные недостатки, – лучшее доказательство то, что мы имеем полную возможность освободиться от них, и уже начинаем освобождаться. Обратим внимание на язву нашей народности – лихоимство. Конечно, грустное зрелище представляет собою дурно образовавшаяся общественность, истребляющая и подавляющая даже в своих благороднейших членах их личную человеческую доблесть тем, что ставит их в необходимость или быть выскочками, оскорбляющими всё общество, или, с пользой самим себе, без нарушения совести, как бы законно и только что не формально, кривить весами правосудия и расхищать государственные сокровища, вверенные их хранению и соблюдению.

[...] По географическому положению своему Россия занимает середину между этими двумя частями света (Европой и Азией. – М. И.). Многие заключают из этого, что она и в нравственном отношении занимает эту середину. Подобная мысль нам кажется вдвойне несправедливою: географическая середина не всегда бывает нравственную середину, а нравственная середина не всегда бывает выгодна.

Как угодно, но трудно вообразить себе середину между светом и тьмою, между просвещением и невежеством, между человечностью и варварством; но ещё труднее найти такую середину выгодную и прийти от неё в восторг. Серый цвет может быть хорош на произведениях природы, искусства и ремёсел; но в духе человеческом серый цвет – цвет отвержения, нравственного унижения. [...] Кроме религии, в России не было ничего общего с Европою; но она много отличалась от Азии. Находясь под туманным небом, в суровом климате, она не представляла собою той роскоши, той поэзии чувственной, ленивой и сладострастной жизни, которая в Азии так обаятельно соблазнительна и для европейца. Страсти в ней были тяжелы, но не остры, отуманивали, а не раздражали, больше спали и редко просыпались. Разнообразие страстей в ней было неизвестно, потому что основы общества были однообразны, интересы ограничены. Для азиатца существует наслаждение; он по-своему обожает красоту, по-своему любит роскошь и удобства жизни. Ничего этого не бывало у русских до времён Петра Великого. Красоту у них составляло дородство, «ражесь» тела, молочная белизна и кровавой багрянец лица – кровь с молоком, как говаривали наши старики и как теперь говорят наши простолюдины. В самом деле, посмотря на то, что брадатые торговцы нашего времени называют красотою, посмотря на разбелённые и раздумянные ланиты и чёрные зубы их очаровательниц, не получишь слишком высокого понятия об эстетическом вкусе наших праотцев. И какая разница между азиатским сатрапом или нашею, который, грабя вверенный его грабительству пашалык, лениво и роскошно упивается всеми обаяниями чувственности в своем гареме – этом земном раю, обещанном ему на небе Мухаммедом, в кругу соблазнительных одалык – этих земных гурий и пери, под

немолчный говор фонтанов, в сладостном дыму аравийских курений, – какая разница между ним и древним русским боярином, который тоже был послан на кормление, то есть на грабление какой-нибудь провинции, который много и безвкусно ел за обедом, ещё больше пил, а после обеда спал богатырским сном; по субботам наслаждался банею, паримый венниками в адском жару, в случае нездоровья выпивал на полке пенничку с перечком, а после бросался в сугроб снегу.

[...] Другое важное отличие русского мира от азиатского – отсутствие мистицизма и религиозной созерцательности. Наше славянское язычество было так слабо и ничтожно, что не оставило по себе никакой памяти. Великий князь Владимир одним словом мог уничтожить его, и народ без всякого фанатического сопротивления крестился. Правда, несколько голосов закричали было: «Выдыбай, боже!», но это не по языческому религиозному чувству, а по уважению к серебряной бороде и золотым усам Перуна. Вообще, Россия была Азией, только в другом характере, чему причиною было и христианство, формально объявленное Владимиром государственною религиєю. Посему наши князья хотя и кололи друг другу глаза, но это было больше следствием влияния византийских обычаев, чем азиатизмом. Русский мужичок и теперь ещё полуазиатец, только на свой манер: он любит наслаждение, но полагает его исключительно в «пенном», в еде и лежании на печи. Когда урожай хорош и хлеба у него вдоволь, – он счастлив и спокоен: мысль о прошедшем и будущем не тревожит его, ибо люди в своём естественном состоянии, кроме утоления голода и других подобных нужд, ни о чём не умеют мыслить. Приходит купец нанимать его под извоз на ярмарку – куда! – наш мужичок ломит с него цену непомерную, даже говорит с ним неохотно, и гордо остаётся на своих полатях. Голод – он едет за без-

делицу, чтоб только не есть дома и не кормить лошадь домашнею соломою. Вопрос о своём состоянии и средствах улучшить и обеспечить его на будущее время, пользуясь благоприятными обстоятельствами, урожаем и пр., никогда не заходил в его остриженную в кружало и плотно выстриженную на макушке голову. Он пашет, как пахали отцы и деды, не прибавит ни колушка к сохе. Изба его похожа на хлев, и зимою он радушно разделяет её с телятами, ягнятами, поросятами и курами. И это не всегда от недостатка в средствах (немец с теми средствами, которые имеет свободный русский мужичок, жил бы барин), а от естественного пребывания на лоне матери-природы и от глубокомысленной причины: «Так жили отцы и деды наши, а они были не глупее нас – не хуже нашего умели есть-то».

[...] Некоторые думают, что Россия могла бы сблизиться с Европою без насильственной реформы, без отторжения, хотя бы и временного, от своей народности, но собственным развитием, собственным гением. Это мнение имеет всю внешность истины, и потому блестяще и обольстительно; но внутри пусто, как большой, красивый, но гнилой орех: его опровергает самый опыт, факты истории. Никогда Россия не сталкивалась с Европою так близко, так лицом к лицу, как в эпоху междоусобия. Димитрий Самозванец, с своею обольстительною Мариною Мнишек, с своими поляками, был не чем иным, как нашествием немецких обычаев на русские, но главнейшая причина его гибели, кроме дерзости, была та, что он после обеда не спал на лавке, а осматривал публичные работы, ел телятину и по субботам не ходил в баню... Но есть факт, ещё более поразительный: это – Новгород. Прекрасно русское выражение: «новгородская вольница» и странно мнение многих учёных, которые от чистого сердца, то есть не шутя, видели в Новгороде республику и живой член ганзеатического со-

юза. Правда, новгородцы были друзья «немцам», беспрестанно обращались с ними, но немецкие идеи и не коснулись их. Это была не республика, а «вольница», в ней не было свободы гражданской, а была дерзкая вольность холопей, как-то отделившихся от своих господ, – и порабощение Новгорода Иоанном III и Иоанном Грозным было делом, которое оправдывается не только политикою, но и нравственностью. От создания мира не было более бестолковой и карикатурной республики. Она возникла, как возникает дерзость раба, который видит, что его господин болен изнурительной лихорадкой и уже не в силах справиться с ним, как должно; она исчезла, как исчезает дерзость этого раба, когда его господин выздоравливает. Оба Иоанны понимали это: они не завоевывали, но усмиряли Новгород, как свою взбунтовавшуюся отчину. Усмирение это не стоило им никаких особенных усилий: завоевание Казани было в тысячу раз труднее для Грозного. Нет! была стена, отделявшая Россию от Европы: стену эту мог разрушить только какой-нибудь Сампсон, который и явился Руси в лице её Петра. Наша история шла иначе, чем история Европы, и наше очеловечение должно было совершиться совсем иначе.

[...] Нет, без Петра Великого для России не было никакой возможности естественного сближения с Европою, ибо в ней не было живого зерна развития... Правда, и без реформы Петра Россия, может быть, сблизилась бы с Европою и приняла бы её цивилизацию, но точно так же, как Индия с Англиею. Повторяем: Петру некогда было медлить и выжидать. Как прозорливый кормчий, он во время тишины предузнал ужасную бурю и велел своему экипажу не щадить ни трудов, ни здоровья, ни жизни, чтобы приготовиться к напору волн, порывам ветра, – и все изготовились, хоть и нехотя, – и настала буря, но хорошо

приготовленный корабль легко выдержал её неистовую силу, – и нашлись недальновидные, которые стали роптать на кормчего, что он напрасно так беспокоил их. Нельзя ему было сеять – и спокойно ожидать, когда прозябнет, взойдёт и созреет брошенное семя: одной рукою бросая семена, другою хотел он тут же и пожинать плоды их, нарушая обычные законы природы и возможности, – и природа отступила для него от своих вечных законов, и возможность стала для него волшебством.

Вопрос не в том, что Пётр сделал нас полугерманцами и полурусскими, а следовательно, и не европейцами, и не русскими: вопрос в том, навсегда ли должны мы остаться в этом бесхарактерном состоянии? Если не навсегда, если нам суждено сделаться европейскими русскими и русскими европейцами, – то не упрекать Петра, а удивляться должно нам, как он мог совершить такое неслыханное от начала мира, такое исполинское дело! Итак, вопрос заключается в слове «будем ли», – и мы смело и свободно можем отвечать на него, что не только будем, но уже и становимся европейскими русскими и русскими европейцами, и становимся со времён царствования Екатерины II, и со дня на день преуспеваем в этом в настоящее время. Мы уж теперь ученики, но не сеиды европеизма, мы уже не хотим быть ни французами, ни англичанами, ни немцами, но хотим быть русскими в европейском духе. Это сознание проникает во все сферы нашей деятельности, и резко высказалось в литературе с появлением Пушкина – таланта великого, самостоятельного, вполне национального. Что же до того, что и теперь не совершилось и долго не совершится окончательно великий акт полного проникновения нашей народности европеизмом – это доказывает только то, что Пётр в тридцать лет совершил дело, которое даёт работу целым векам...